



## КАТЕГОРИЯ ОДУШЕВЛЁННОСТИ/ НЕОДУШЕВЛЁННОСТИ ГРАММАТИЧЕСКИЕ И СЕМАНТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

*Якубова Мунаввар Исмаиловна*

*Преподаватель кафедры русского языка и литературы Самаркандского  
государственного педагогического института*

*Абдусатторова Гулрух*

*Студентка 3 курса Самаркандского государственного педагогического  
института*

**Аннотация:** В данной статье исследуется категория одушевленности /неодушевленности как бинарная оппозиция, пронизывающая уровни морфологии, синтаксиса и когнитивной семантики. Анализирует «мерцающие» границы данной категории, где грамматический показатель вступает в конфликт с биологической реальностью. Особое внимание уделяется художественному переосмыслению предметного мира и критическому разбору классических лингвистических концепций.

**Abstract :** This article examines the category of animacy/inanimacy as a binary opposition that permeates the levels of morphology, syntax, and cognitive semantics. The author analyzes the “flickering” boundaries of this category, where the grammatical marker conflicts with biological reality. Special attention is paid to the artistic reimagining of the objective world and a critical analysis of classical linguistic concepts.

**Ключевые слова:** Одушевленность, морфологическая парадигма, винительный падеж, антропоцентризм, семантическая деривация, языковая картина мира.

**Keywords:** Animacy, morphological paradigm, accusative case, anthropocentrism, semantic derivation, linguistic picture of the world.



Грамматическая категория одушевленности в славянском языкознании традиционно воспринимается как застывший слепок древних представлений о живом и мертвом. Однако при детальном рассмотрении она предстает не как статичная классификация, а как динамический процесс «очеловечивания» или «опредмечивания» реальности. Внутренняя форма русского языка диктует нам специфическую оптику: мы не просто называем объект, мы априори выносим ему вердикт — обладает ли он волей, способен ли к самостоятельному движению, наделен ли он «дыханием» (*anima*). Семантический аспект этой категории уходит корнями в глубокий антропоцентризм. Человек — мерило всех вещей, и именно степень близости объекта к человеческому образу определяет его грамматическое поведение. Как отмечал в своих трудах выдающийся лингвист А.А. Зализняк, категория одушевленности в русском языке проявляется прежде всего в синтаксическом дублировании форм падежей: для «живых» существительных винительный падеж совпадает с родительным (вижу коня/отца), для «неживых» — с именительным (вижу стол/город). Эта формальная «склейка» — не случайность, а маркер субъектности. Выбирая форму родительного падежа для объекта действия, язык как бы признает за ним потенциальное право самому быть субъектом, активным началом<sup>1</sup>.

Художественная литература расшатывает эти границы. Вспомним образный строй прозы Андрея Платонова. В его художественном мире границы между плотью и металлом часто стираются. Машины, паровозы, сама земля наделяются признаками органической жизни не просто через эпитеты, а через глубинное ощущение их «усталости» или «страдания». Если бы мы переложили платоновское мироощущение на строгий язык грамматики, мы бы увидели, как неодушевленные предметы начинают требовать форм

---

<sup>1</sup> Зализняк А. А. Русское именное словоизменение. М., 2002. С. 118–125.



одушевленности, преодолевая сопротивление словарной нормы. Слово в литературе — это не только обозначение, но и энергия. Когда эта энергия направлена на предмет, он «просыпается» в сознании читателя, становясь грамматическим фантомом живого существа. Существует и обратный процесс — семантическая деградация одушевленности. В юридических или медицинских текстах человек порой низводится до уровня «объекта» или «единицы учета». Грамматика здесь остается непоколебимой (мы все равно скажем «осмотреть пациента», а не «осмотреть пациент»), но семантическое наполнение слова выхолащивается. Это создает зазор между грамматическим показателем и когнитивной оценкой, который становится полем для стилистических игр. Морфологическому аспекту, стоит заметить, что категория одушевленности наиболее последовательно выражена у существительных мужского рода во множественном и единственном числе, в то время как женский и средний род демонстрируют определенную инертность. Это порождает вопрос: является ли одушевленность «равноправной» категорией для всех классов слов? Или же она — привилегия, распределяемая языком неравномерно? Ряд исследователей, включая В.В. Виноградова, подчеркивали, что одушевленность — это не только вопрос морфологии, но и вопрос лексического класса. Например, названия микроорганизмов (бактерии, вирусы, микробы) в современном языке ведут себя крайне неустойчиво. Мы можем встретить как «убить микробов», так и «убить микробы». В этом колебании отражается прогресс научного знания: пока существо неразлично глазом, язык тяготеет к восприятию его как массы или вещества (неодушевленность). Как только микромир становится частью активного социального и медицинского дискурса, он обретает черты «индивидуальности» и, следовательно, грамматическую одушевленность<sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup> Виноградов В. В. Русский язык (Грамматическое учение о слове). М., 1986. С. 134–140.



Если мужской род в русском языке является флагманом выражения одушевленности, то средний род традиционно считается «периферией» живого. Здесь мы сталкиваемся с уникальным лингвистическим феноменом: существительные среднего рода, обозначающие живых существ (чудовище, страшилище, животное, лицо в значении «человек»), ведут себя крайне непоследовательно. Грамматика словно сопротивляется тому, чтобы признать «среднее» живым. В художественном мире Николая Гоголя эта неопределенность возведена в ранг экзистенциального ужаса. Когда автор описывает персонажей, теряющих человеческий облик, он часто прибегает к словам среднего рода, тем самым лишая их четкого грамматического статуса «действующего лица». У Гоголя вещь часто оживает, а человек овеществляется. С точки зрения лингвиста, это выглядит как конфликт между семантикой слова и его морфологической парадигмой. Слово «существо» семантически максимально одушевлено, но в винительном падеже множественного числа оно подчиняется законам неодушевленности (вижу эти существа, а не существ). Это создает эффект очуждения: живое предстает как чистая субстанция, лишённая воли. Сложность категории проявляется и в том, что она не является чисто биологической. Это категория социального и культурного признания. Яркий пример — названия игрушек и карт. Почему мы говорим «купить кукол» (как живых) и «побить тузов»? Здесь вступает в силу принцип «имитации личности». Кукла имитирует человека, карта в игре наделяется функцией активного бойца. В этом смысле грамматика оказывается мудрее биологии: она фиксирует не наличие белка и углерода, а роль объекта в человеческой деятельности.

Одушевленность — это потенциал слова быть услышанным и ответить. Если мы перенесем это в плоскость грамматики, то винительный падеж, совпадающий с родительным, — это своего рода «признание суверенитета» объекта. Когда язык говорит «вижу мертвеца» (одушевл.), он признает за



ушедшим статус субъекта памяти, в то время как «вижу труп» (неодушевл.) фиксирует лишь физическую оболочку, ставшую предметом. Этот тонкий нюанс — «мертвец» vs «труп» — является хрестоматийным примером того, как лексическое значение диктует выбор падежной флексии, опираясь на сакральные и культурные установки. Синтаксический аспект, нельзя игнорировать влияние собирательных существительных. Слова типа народ, толпа, студенчество, стадо семантически наполнены «жизнью» до предела, однако грамматически они абсолютно неодушевлены (вижу народ, а не народа). Здесь мы видим победу категории числа и целостности над категорией жизни. Язык воспринимает массу как монолитный предмет, лишая индивидов, составляющих эту массу, их личной одушевленности. Это порождает интересную когнитивную коллизию: чем больше живых объектов собирается вместе, тем выше вероятность их «грамматической смерти» в языке. Одушевленность в русском языке — это не классифицирующий признак (как род), а скорее словоизменяемый показатель, который «просыпается» в определенных синтаксических условиях. Это превращает одушевленность в некое мерцающее свойство. Мы можем наблюдать «одушевление» технических терминов в профессиональном жаргоне: программист может сказать «запустить демона» или «убить процесса», наделяя программный код признаками автономного существа. Это подтверждает гипотезу о том, что категория одушевленности — это открытая система, чутко реагирующая на смену технологических эпох. Интересным полем для исследования является категория одушевленности в поэтическом языке Серебряного века. Поэты этого периода часто использовали прием грамматического сдвига для создания мистического напряжения. Например, метафора «целовать закат» воспринимается нами как неодушевленное действие. Однако стоит поэту изменить падежное управление (если бы грамматика позволила сказать «целовать заката»), как пейзаж мгновенно



превратился бы в мифологическое божество. Имя вещи есть сама вещь в её явленности сознанию. Если сознание воспринимает мир как живой организм (панпсихизм), то грамматическая категория одушевленности становится тесной. Литература пытается разорвать эти оковы. В «Петербургских повестях» мы видим, как Нос (часть тела, неодушевл.) обретает чин, мундир и, соответственно, полную грамматическую и социальную одушевленность. Этот переход осуществляется не через описание, а через изменение позиции объекта в структуре мира. Как только Нос начинает «действовать», он перестает быть объектом винительного падежа и становится субъектом именительного.

### Список использованной литературы

1. Зализняк А. А. «Русское именное словоизменение». М.: Наука, 1967.
2. Гинзбург Л. Я. «О психологической прозе». Л.: Советский писатель, 1971.
3. Виноградов В. В. «Русский язык (Грамматическое учение о слове)». М.: Высшая школа, 1972.
4. Лотман Ю. М. «В школе поэтического слова: Пушкин, Лермонтов, Гоголь». М.: Просвещение, 1988.
5. Мельчук И. А. «Курс общей морфологии». Том II. М.: Языки русской культуры, 1998.
6. Лосев А. Ф. «Философия имени». М.: Изд-во МГУ, 1927.